Даурания Горн



Даурания Торн

Тринадцать правил. кн.3

«Автор»
2026

Торн Д.

Тринадцать правил. кн.3 / Д. Торн — «Автор», 2026

Сергей Веретенников выжил в лобовом, в котором погиб другой. Через три недели он развязал купленный у дорожной бабки узелок «от смерти», и из-под его ключицы вышла чёрная нитка, а под кожей обнаружился шов, которого он никогда не делал.С этой историей начинается книга. Дальше их тринадцать: воспитательница, которая заказала приворот и теперь просыпается с полным ртом; егерь, у которого после развязанного в поле узла перестала болеть нога, а в доме поселился запах поля; фельдшер скорой, которой умирающая старуха отдала тетрадь с тринадцатью правилами и тринадцать дней, чтобы передать её дальше.Все они взрослые, уставшие, обычные. У каждого работа, долги и кто-то, кого он боится потерять. Колдовство здесь не живёт в избушке. Оно даёт объявление в местной группе, принимает перевод на карту, просит принести волос и заверяет, что «так у меня всегда».Дорогие читатели, поддержите автора отзывами и донатами. Каждый ваш отклик даёт автору желание двигаться дальше.

© Торн Д., 2026
© Автор, 2026

Даурания Торн
Тринадцать правил. кн.3

Даурания Торн. Тринадцать правил. кн.3

Глава 1. Наузы

Сергей Веретенников ехал из Ростова третьи сутки и уже не различал, где кончается дорога, а где начинается сон. До поворота оставалось пятьдесят три километра, потом двадцать по объездной, и он всё это время держал в голове одно: если опоздает к семи, склад не примет и штраф вычтут с него, а не с хозяина.

Фура шла пустая: десять тонн ламината он сдал ещё в обед, на обратном пути. Пустая машина на мокром асфальте ведёт себя как хочет, её мотает, и он держал руль двумя руками, а в горле у него ссохлось от кофе, который он пил литрами и от которого уже не было никакого толку.

Дождь шёл с вечера, мелкий, ровный, и в свете фар было видно, как он стоит в воздухе, а не падает. Обочина блестела. На заправке, мимо которой он проехал минут двадцать назад, горела одна лампа из шести, и под ней стоял мужик с канистрой, и Сергей потом ещё думал, что мог бы остановиться и спросить, всё ли у него в порядке.

Встречные шли редко. Между ними было по две, по три минуты темноты, и в этой темноте особенно хорошо думалось о том, что дома опять не убрано с прошлого раза, и о том, что мать в этом году так и не съездила в санаторий, потому что некому было её отвезти.

Он приоткрыл окно, чтобы подышать. Холод хлестнул по щеке и сразу осел на стекле.

Встречная машина появилась далеко, в двух точках, и больше ничего не было.

Он не сразу понял, что в этих двух точках не так: они шли быстро и криво, и одна из них вильнула в сторону и уехала вправо, а потом вернулась на середину и пошла через сплошную.

Сергей нажал на тормоз.

Фура клюнула носом, и всё, что было на полке, полетело вперёд: термос, пачка сигарет, чей-то бумажный стаканчик.

Дальше он помнил не по порядку, а кусками.

Свет в лобовое стекло, слишком яркий, слишком белый, и в этом свете видно было, как с ума сходит дождь, распадаясь на отдельные длинные капли, которые стоят в воздухе и не двигаются.

Потом он попробовал увести машину вправо, и машина не успела.

Удар был мягче, чем он думал. Его бросило на руль, грудью, потом отпустило, потом бросило снова, уже вбок, и стало тихо.

Совсем тихо.

В кабине пахло дымом и горячей пылью. Дворники остановились и стояли, прижатые к стеклу, а стекло было в паутине, и через эту паутину ничего не было видно, кроме белого света, который не гас.

Сергей сидел и смотрел на свои руки.

Левая рука лежала на руле. Правая тоже. Пальцы были на месте, все десять, и на правом указательном не было ногтя, который он уронил на подъёмнике в прошлом году и потом рассказывал про это в гараже так, как рассказывают про орден.

— Ты чё, — сказал он вслух.

Голос был его, хриплый, и он услышал его так, как будто слушал со стороны.

Потом зашипело.

Он вывалился из кабины на асфальт, на четвереньки, и мокрый холод сразу залез в штаны. Опустил глаза: две ссадины на ладонях, одна через всю ладонь белая полоса от стекла, и кровь, которая идёт, но не так, чтобы страшно.

Фура стояла поперёк, и её капот был смят в грязный металлический цветок.

Он выпрямился.

Вторая машина стояла метрах в десяти, у обочины, и у неё не было передней части. Только моторное отделение, открытое, дымящееся, с вырванным куском металла, который висел, как лист.

Он дошёл до неё и остановился.

В машине был парень.

Молодой, лет двадцати, не больше, в светлой куртке, с поднятым капюшоном, и под капюшоном было лицо, которое уже ничего не выражало. Его прижало к двери, и дверь вдавилась внутрь.

Сергей подёргал ручку снаружи. Дверь не поддалась.

Он ударил по стеклу ладонью, потом локтем, потом тем куском металла, который висел у него перед лицом, но вспомнил, как это опасно, и аккуратно надбил край стекла.

Стекло посыпалось. Сало.

Он просунул руку и нащупал шею.

Тёплой она не была.

Он всё равно щупал долго, стоя на коленях в воде перед этой дверью, и потом вытащил руку и вытер её о штанину.

— Сейчас, — сказал он. — Сейчас.

Телефона у него в кармане не было. Телефон остался в кабине, на полке, вместе с термосом.

Он пошёл назад, вытащил телефон из-под резинового коврика, где он почему-то оказался, и нажал вызов. На экране было три полоски, и все три пустые, без сети.

Время стояло на четырёх минутах пятого.

Он набрал ещё раз, потом ещё.

Надо было идти к посту. Пост был километра за четыре, он помнил, что проезжал его, и там горел свет, и там стоял человек с полосатой палкой и, кажется, спал стоя.

Сергей пошёл по обочине, и на первом шаге его повело.

Дальше он шёл нормально. Дождь бил ему в лицо, футболка под курткой намокла, а ему было не холодно, и это не нравилось ему больше всего.

На остановке горел свет.

Сергей не сразу понял, что это остановка: старый навес с пластиковыми стенами, половина стёкол выбита, скамейка, урна, прикрученная к трубе. Он проезжал здесь сотни раз и ни разу сюда не смотрел.

Под навесом сидела старуха.

Она сидела на скамейке в тёмном платке, с сумкой на коленях, и рядом с ней стоял вещмешок, из которого торчала картонная коробка.

Сергей остановился. В голове у него не было этого, он думал только про пост, но ноги стали, и он стоял и смотрел, как дождь стучит по железному козырьку.

— Долго ты шёл, — сказала старуха.

Она смотрела прямо на него, и глаза у неё были светлые, как вода в луже.

— Вы чего тут? — сказал он. — В пять утра. Автобусы не ходят.

— Не ходят, — согласилась она.

Сергей подошёл ближе.

— Там человек погиб, на дороге. Мне до поста дойти надо, связи нет.

— Дойдёшь, — сказала старуха. — Разве что не к посту.

Она посмотрела на него внимательнее, и лицо у неё было спокойное, как у людей, которые всё на свете видели и давно перестали удивляться.

— Ты в оба вдохнул? — спросила она.

— Чего?

— В оба, говорю, вдохнул? Или одним обошлось?

Сергей не понял и не стал отвечать.

Он встряхнул головой, потому что в ушах стоял шум, и сделал шаг, но она подняла руку, и он опять стал.

Старуха полезла в сумку. Долго копалась, разбирая какие-то лоскутки, катушки, бумажки, и наконец вытащила оттуда маленький узелок на чёрном шнурке: серый, из некрашеной ткани, размером с половину ладони, перетянутый посередине ниткой.

— На, — сказала она. — Пятьдесят рублей.

— Мне не надо.

— Надо, — сказала она. — Возьми, а не то тебе сейчас при твоей жизни скажут: с вас ещё одно.

— Вы кто вообще?

Она подняла на него глаза.

— Я тут сижу, — сказала она. — Много лет. Ты куришь?

— Не курю.

— Ну и хорошо, — сказала она и подняла шнурок. — Возьми, говорю. Надень, и не снимай, пока сам не развяжешь. Пятьдесят рублей.

Сергей полез в карман за кошельком. Пальцы не слушались, мелочь посыпалась в воду, одна монета покатилась и легла у урны.

Он наклонился за ней, потом выпрямился.

И вот тут, когда он выпрямился с монетой в руке и с дождём на ресницах, он сообразил наконец, что в остановке нет окна, в которое обычно смотрят люди, ждущие автобус.

Вместо окна было стекло.

И в этом стекле отражалась остановка: скамейка, урна, он сам с монетой в руке.

Старухи в стекле не было.

Сергей обернулся.

Она сидела на месте, положив руки на сумку, и смотрела не на него, а на дорогу, как смотрят люди, которые ждут автобус и знают, что он всё равно не придёт.

— Вы… — начал он.

— Держи, — сказала старуха и протянула шнурок.

Он взял. Узелок был мягкий, набитый чем-то сыпучим, и тёплый, как будто его только что держали за пазухой.

— Надел и иди.

Сергей посмотрел на узелок, потом на неё, потом опять на узелок. Голова у него работала медленно, как часы, которые отстают, и все мысли в ней были не про это, а про парня в разбитой машине, до которого было четыреста метров.

— Мне бы до поста, — сказал он.

— Дойдёшь. — Она чуть подвинулась на скамейке. — До поста дойдёшь, а дальше, как пойдёт. Надевай, я тебе не враг, чего ты как маленький.

Он надел.

Шнурок лёг на шею, узелок — на грудину, под футболку, и там, где он лёг, сразу стало тепло. Не горячо. Тепло, ровно, как если бы кто-то положил на грудь ладонь и держал.

— Вот, — сказала старуха. — Теперь тебя на дороге не будет.

— Как это не будет?

— Так. Не будет, и всё. — Она снова посмотрела на него, и в её светлых глазах не было ни жалости, ни насмешки. — Тебя на дороге не будет. А кто с тобой поедет — тот и будет. Понял?

— Не понял.

— Поймёшь, — сказала она. — Ты не в первый раз за рулём.

Сергей постоял ещё немного. Мимо прошла машина, обдала их обоих грязной водой, и он вздрогнул.

— А снять как?

— Руками, — сказала старуха. — Только не снимай, пока сам не решишь. И не давай никому развязывать. И в воду с ним не лезь, и в баню не ходи, пока не решишь. А будешь снимать, — она помолчала, — снимай не ночью.

Он кивнул, хотя ничего не запомнил, кроме того, что надо идти.

— Спасибо, — сказал он.

— Иди, — сказала она. — И не оглядывайся. Чего оглядываться, всё уже случилось.

Он пошёл.

Он шёл по обочине и всё-таки оглянулся — на повороте, где за кустами уже ничего не было видно. На остановке горел свет. Старуха всё так же сидела на скамейке, и рядом с ней теперь стоял кто-то ещё, маленький, в куртке с капюшоном.

Сергей шёл ещё минут двадцать, и эти двадцать минут его никто не обгонял. Потом сзади зашумело, и рядом остановилась «Нива», ржавая, с фанерным прицепом.

— До поста? — спросил он через стекло.

Мужик за рулём посмотрел на него, потом на дорогу за его спиной.

— Ты откуда такой?

— Авария там. Легковую на встречную вынесло. Водитель… — Сергей сглотнул. — Водитель там.

Мужик вышел из машины, перекрестился, достал телефон и заговорил быстро, называя километр, и Сергей стоял рядом и слушал, как он говорит: «двое, один точно», и не понимал, откуда он взял «двое».

— Садись, — сказал мужик. — Сейчас наряд будет. Ты сам-то цел?

— Цел.

— Ага. — Мужик ещё раз посмотрел на него. — Целый ты какой-то.

Наряд приехал через сорок минут. Скорая — через час. К этому времени на дороге стояли уже три машины, мигали синим, кто-то ставил знаки, кто-то ходил с фонариком по обочине, и всё это было обыкновенно, как в кино, только холодное и мокрое.

Сергея спросили, как всё было. Он рассказал два раза: молодому лейтенанту и мужчине в куртке без погон.

— Повезло тебе, — сказал лейтенант, записывая. — В такую мясорубку попасть и почти без царапин. Бывает.

— Бывает, — сказал Сергей.

Он положил руку на грудь, туда, где под футболкой был узелок, и почувствовал его тепло.

Домой он попал к обеду следующего дня. Снял ботинки, лёг на диван в куртке и проспал до темноты. Проснулся от того, что в квартире было тихо и пахло мокрой тряпкой, и первым делом полез рукой за пазуху: узелок был на месте.

Он попробовал его развязать.

Нитка была затянута просто, двумя петлями, такими, что любой ребёнок развяжет. Он потянул за кончик, и петля подалась, и он остановился.

Перед глазами стояла старуха и её слова: «Снимай не ночью».

Было восемь вечера, за окном темно.

Он убрал руки и лёг обратно.

Через три дня он вышел в рейс. Хозяин сказал: «Ты чего, тебе ещё неделю отлежаться», а он сказал: «Мне надо», и хозяин махнул рукой.

Дорога в тот раз была пустая. Он ехал и ждал, что будет бояться, — и не боялся. На сто втором километре, там, где ещё висел запах солярки и стоял знак «неровная дорога», он не сбросил скорость и даже не повернул головы.

На объездной, перед поворотом, стояла перевёрнутая «Газель». Её только что перевернуло, из кабины вылезал мужик, весь в крови, и махал рукой, чтобы Сергей остановился.

Сергей проехал мимо.

Он не решил так, не подумал, не успел даже сообразить. Просто педаль сама осталась на месте, а руки сами повернули руль чуть левее, и в зеркале мужик ещё махал, а потом стал маленьким и пропал.

На следующем светофоре Сергей остановился, и его затрясло.

Он сидел и держался за руль, и руки у него ходили ходуном, как у пьяного. В голове было пусто и громко. Он включил аварийку, вышел, прошёл по холодному ветру вокруг машины и сел обратно.

Потом достал из бардачка телефон и написал хозяину: «Опоздаю на полчаса».

Хозяин ответил: «Ок».

Он поехал дальше.

Через неделю у него в кабине появился напарник.

Сашу посадили вторым, потому что в конторе решили, что после аварии Веретенникову одному за рулём нельзя. Саше было двадцать семь, он ходил в клетчатой рубашке, жевал семечки и всё время рассказывал про свою невесту из Саратова, про то, как они копят на съём и как он боится, что её мать отдаст её кому-нибудь побогаче.

— Ты не боись, — говорил Саша. — Я ж всё понимаю. Я всё на свете понимаю.

Он садился за руль на объездной, и Сергей в эти полчаса спал.

Через двенадцать дней после того, как Саша сел в его кабину, они возвращались порожняком. Саша вёл, Сергей спал, отвернувшись к двери и подложив под голову куртку. Проснулся он оттого, что Саша говорил по телефону, тихо и часто, и в трубке был женский голос.

— Ладно, — сказал Саша. — Ладно. Я перезвоню.

Он положил телефон, но держал его в руке и смотрел на дорогу, и Сергей лежал и видел, как он смотрит.

— Что? — спросил Сергей.

— Ничего, — сказал Саша. — Спи.

Сергей посмотрел вперёд.

За поворотом, на их полосе, стоял «КамАЗ» без огней, с прицепом, и от него в темноте шли длинные полосы чужого света, а навстречу шёл автобус, и всё это было ещё далеко, но уже ближе, чем нужно.

— Вправо, — сказал Сергей.

Саша повернул вправо.

Удар был сбоку, короткий, как хлопок в ладоши, ночной автобус чиркнул по кабине, их провернуло, и прицеп «КамАЗа» вырос перед глазами и стал всем.

Сергей очнулся от тишины.

Кабина лежала на боку. Ветровое стекло было в мелких крошках, но целое, а он сам сидел на двери, зажатый и целый, и голова у него не болела.

Саша лежал рядом.

Он лежал на своей двери, и его дверь была вдавлена в салон, и всё-таки голова у него была повёрнута не туда, а рука, в которой он держал телефон, была под ним.

Сергей потрогал его за плечо.

Потом за шею.

Потом вытащил из-под него телефон и держал, не понимая, зачем он это сделал, и на экране шло входящее: «Любимый», с фотографией девушки в светлом платье.

Сергей просидел в этой кабине минут двадцать, пока не приехали.

Все эти двадцать минут на груди у него было тепло.

Тепло было ровное, спокойное, как у печки, которую только что затопили, и его самого это тепло уже не удивляло. Он понял только одно: он опять целый.

Опять один.

Сашу хоронили в Саратове, и Сергея на похороны не позвали. Ему позвонил мужчина из конторы, сказал, что матери Саши «сейчас не до этого», и попросил до конца месяца быть на связи. Невеста Саши прислала ему в мессенджер одно слово: «Зачем».

Он не ответил.

Три ночи он не спал. Лежал в темноте, слушал, как в подъезде хлопает дверь, и трогал узелок на груди. Тепло было на месте, ровное, как всегда.

На четвёртую ночь он встал, оделся и выехал.

До остановки было двести двенадцать километров, и он проехал их за три часа, потому что дорога была пустая, сухая и почему-то очень хорошая, как будто её специально сделали для него одного.

Он поставил машину на обочине и вышел.

Было пять утра, темно, и с неба сыпалось что-то мелкое, не то снег, не то дождь. Остановка стояла на прежнем месте: навес, пластиковые стены, половина стёкол выбита, скамейка, урна, прикрученная к трубе.

Она была пустая.

Он постоял под козырьком, потом сел на скамейку, там, где сидела старуха, и почувствовал под собой холод.

На полу под скамейкой валялись окурки, бумажка, чей-то носок. На снегу перед остановкой не было ни одного следа.

— Эй, — сказал он в темноту. — Я приехал.

Никто не ответил.

Он просидел минут двадцать, глядя на дорогу. Потом пошёл к посту.

Пост стоял на прежнем месте, и в нём горел свет, и за стеклом сидел человек в форме, читал телефон и пил из кружки.

— Здрасьте, — сказал Сергей.

Человек поднял глаза.

— На остановке, — сказал Сергей, — в четырёх километрах отсюда. Там женщина сидела, старая, в платке. С сумкой. Она тут давно?

— Где?

— На остановке.

Человек посмотрел на него так, как смотрят на людей, которые говорят что-то не то.

— На той остановке автобус не останавливается, — сказал он. — Лет десять уже. Раньше ходил, а потом маршрут перенесли. — Он отпил из кружки. — Там никто не сидит. Там и стёкол почти не осталось, пацаны разбили.

— Я её видел, — сказал Сергей. — Три недели назад, ночью. У меня тут авария была.

Человек поставил кружку.

— Авария у тебя была, — сказал он медленно, — не тут. Тебя на сто двадцать втором километре снесло, я выезжал. — Он помолчал. — А на этой остановке, — он кивнул куда-то в сторону, — в девяносто восьмом бабку нашли. Замёрзла. Она там неделю сидела, всё ждала автобус, а он уже не ходил. — Он опять посмотрел на Сергея. — Ты бы домой ехал. Мужик вон бледный, вы там все после аварий такие.

Сергей вышел от него и постоял во дворе поста, глядя на своё дыхание.

Потом пошёл к машине.

Идти было четыре километра, и он шёл по обочине, и впереди горел свет на остановке. Он видел его издалека, маленькое жёлтое пятно в темноте, и всё это время говорил себе, что подойдёт, а там будет пусто, и это будет самое лучшее, что могло случиться в его жизни.

Там было пусто.

Он сел в кабину и достал узелок из-за пазухи.

— Ладно, — сказал он.

Он взялся за кончик нитки.

И тут же вспомнил: снимай не ночью.

Он посмотрел на часы. Половина шестого.

— Да что за, — сказал он вслух и завёл двигатель.

Он проехал вперёд, до заправки, мимо которой ездил сотни раз, и которая теперь казалась ему самым надёжным местом на земле. Купил кофе, выпил его у окна, глядя, как светлеет небо, и в семь утра, когда стало совсем видно, вышел, сел в кабину и развязал узел.

Внутри была земля.

Серая, мелкая, сухая, и ещё что-то в ней, длинное и тёмное.

Он вытряхнул это на ладонь.

Волос.

Один, длинный, тёмный, с утолщением на конце, и он лежал на его ладони и был тёплый, как и всё, что давала эта старуха.

Сергей посмотрел на него и засмеялся. Тихо, недолго, через нос.

— Ну вот и всё, — сказал он. — Вот и всё, мужик.

Он хотел выбросить и волос, и тряпку в окно, но сначала посмотрел на свой шнурок, потому что тот почему-то остался на шее.

Шнурок был на месте. Узел развязан, тряпка в руке, а шнурок на шее, и из него, с левой стороны, у самой ключицы, выходила тонкая чёрная нитка.

Сергей не поверил.

Он потянул за неё пальцами, и она поддалась. Она не была привязана, не была узлом, она просто входила в кожу и шла под ней.

Он подцепил ногтем и оттянул кожу у ключицы.

Шов был тонкий, старый, белый, из такой ровной стяжки, какой зашивают хомяка в ветеринарке, и он шёл от ключицы вниз, под воротник, дальше, чем Сергей мог увидеть в зеркале заднего вида.

Он сидел, держась за ключицу, и в голове у него было очень тихо.

— Я не шился, — сказал он. — Я не шился никогда.

Нитка лежала у него на пальце, чёрная, тонкая, и она была не снаружи шва, а из шва: она выходила из-под кожи, как выходят из рукава.

Он дёрнул её легонько, и от ключицы по всей груди прошло такое, будто внутри что-то повернули.

Он отпустил нитку.

Нитка втянулась обратно и осталась висеть, короткая, в палец длиной, ровно там, где кончался шов.

Сергей просидел в кабине до девяти. Потом вышел, вымыл руки у колонки, посмотрел на себя в стекло, поднял воротник и поехал домой.

Всю дорогу он чувствовал, как под ключицей у него тепло.

И всю дорогу он думал, что надо бы заехать в травмпункт, но у него в кармане лежал телефон, и на телефоне висело три вызова, и все три были с незнакомого номера, и когда он наконец ответил, в трубке сказали:

— Сергей Николаевич? Вам удобно говорить? Это по поводу Саши.

Он прижал телефон плечом к уху и сказал, что да, удобно.

Говорили недолго. Спрашивали, как он себя чувствует, предлагали психолога, сказали, что страховка всё покроет и что разбор будет в среду. Он отвечал односложно и всё это время смотрел в зеркало на свою ключицу, где из шва торчала чёрная нитка.

В среду он поехал в травмпункт.

Хирург, молодой, в очках, посмотрел на шов, потрогал его пинцетом и сказал:

— А когда шили?

— Не шили.

— Как не шили? — Хирург отодвинул лампу. — Тут шов. Аккуратный. Старый, но аккуратный. Кто шил?

— Я не знаю.

Хирург посмотрел на него, потом на медсестру, и та посмотрела на хирурга.

— Здесь нитка, — сказал Сергей. — Вот. Она из шва выходит.

Он поднял воротник.

Нитки не было.

Кожа у ключицы была гладкая, целая, без шва, и только если очень сильно оттянуть её пальцами, там, где Сергей видел шов, оставалась тонкая белая полоска, как от старой царапины.

— Не понимаю, — сказал он.

— А что вы хотели? — спросил хирург доброжелательно. — У вас стресс. Вы после аварии, у вас человек погиб… — он глянул в карту. — Вы бы к неврологу сходили. И к психологу. Это нормально, это проходит.

Сергей вышел из кабинета и сел в коридоре на кушетку.

Посидел минут десять, глядя на пол под ногами. Потом расстегнул куртку, залез рукой под футболку и нащупал.

Нитка была на месте. Она висела там, короткая, в палец, тёплая, и когда он тянул её, она тянулась из кожи и не отрывалась.

Значит, врач её не видел.

Он так и не понял, почему это его не удивило. Он удивился бы месяц назад, до аварии, до остановки, до тепла на груди. Сейчас он просто сидел в коридоре травмпункта и думал, что надо ехать.

Домой он вернулся к вечеру, выпил чаю и лёг.

И в ту ночь ему стало плохо.

Началось с того, что под ключицей зачесалось. Он почесал, потом подождал, потом почесал сильнее, потом встал и включил свет в ванной.

Шов был на месте. Только теперь он шёл не поперёк ключицы, а дальше, вниз, под грудную мышцу, и на нём были мелкие стежки, как на мешке.

Сергей стоял над раковиной и смотрел на себя в зеркало.

— Ладно, — сказал он.

Он взял нитку и потянул.

Было не больно. Он ждал боли, а боли не было: шло тепло, ровное, как от горячей воды, и вместе с теплом из шва выходило что-то ещё, и сердце в груди стучало так, что рёбрам было тесно.

Нитка шла и шла.

Он вытянул её на полметра. Потом на метр. Она была мокрая и тёплая, и на ней, в двух пальцах от края, висел комочек.

Сергей потянул последний раз.

Комочек вышел из шва и лёг ему в ладонь: серый узелок из некрашеной ткани, перетянутый посередине ниткой, размером с половину ладони.

Он был тяжёлый и мокрый, и от него пахло землёй.

Шов стянулся сам. Сергей почувствовал, как под ключицей затянуло, как тянет кожу после того, как снимешь пластырь, и в ванной стало очень тихо.

Он стоял, держа в руке этот узелок, и слышал, как в груди на месте тепла теперь пусто.

Просто пусто. Обычная пустая грудина, сердце, лёгкие, и всё это его, живое и холодное.

Он посмотрел в зеркало. Отражение было его, только очень уставшее.

— Всё, — сказал он. — Хватит.

Он завернул узелок в тряпку, сходил на кухню, достал термос, старый, дырявый, в котором не держалось тепло, и запихал тряпку в него. Потом налил воды, накрыл крышкой и поставил на подоконник.

Земли, чтобы досыпать, у него не было, и отнести узелок обратно на остановку он не мог: до остановки было двести двенадцать километров, а на улице стояла ночь.

Утром, сказал он себе. Утром поеду и отдам.

Он лёг, но не спал. Смотрел в потолок и слушал, как в термосе что-то шуршит, тонко, как крупа в стакане, и шуршало оно всю ночь, до самого света.

К шести он встал, сунул термос в сумку и поехал в контору. Ему дали рейс до Воронежа, правда, не на его машине — её поставили на ремонт, — а на старой «Скании» с прицепом, которую он не любил, потому что у неё тянуло вправо.

Он выехал в семь вечера.

Всё было обычно: дорога, огни, музыка по радио, которую он не слушал. Термос стоял на полу у пассажирского сиденья, и в нём шуршало, тихо, как мышь в мешке.

На сто тридцатом километре он остановился у поста и купил у лоточницы кофе.

Лоточница налила ему кофе и сказала:

— Слышал, вчера на объездной опять.

— Что опять?

— Газель в легковую. Двое насмерть. — Она вздохнула. — Месяца не прошло, как вы там все бьётесь.

Он взял кофе и не стал спрашивать, почему «вы все».

Он сел в машину и поехал.

И через девять километров его повело.

Не резко, не вдруг, как тогда. Наоборот: медленно, мягко, как будто руль сам стал поворачивать, а он не мешал. Правая обочина, гравий, шум под колёсами, и в зеркале — длинная полоса фар встречной фуры.

Он ударил по тормозу.

Прицеп толкнул его сзади, машину повело боком, и встречная фура прошла мимо так близко, что он увидел в её кабине человека за рулём: тот спал, сидел, откинувшись, с открытым ртом, и огней у него не горело.

Потом «Скания» легла на бок.

Он не потерял сознание.

Он лежал на двери, пристёгнутый, слышал, как в прицепе что-то катается и бьётся, и смотрел, как из щелей в полу тянется пыль.

Потом вылез через лобовое, порезал ладонь о стекло, сел на асфальт и стал ждать.

Через десять минут с той стороны, откуда ушла встречная фура, остановилась «Газель».

Из неё вышел парень лет двадцати, в светлой куртке, с капюшоном на голове, и пошёл к нему, и его фары горели за ним, и он был в этом белом свете очень молодой.

— Дядь, живой? — крикнул он ещё издалека.

— Живой, — сказал Сергей.

Парень присел рядом на корточки.

— Скорую? У меня телефон есть.

— Есть, — сказал Сергей. — Только связи тут нет.

Парень вытащил телефон, посмотрел на него и сказал:

— Ага. Нет.

Он был очень похож на Сашу, этот парень. Такая же клетчатая рубашка под курткой, такие же пальцы, которые не знают, куда деться.

— Ты откуда едешь? — спросил Сергей.

— С Ростова. Пустой, обратно. — Парень посмотрел на лежащую «Сканию» и присвистнул. — Тебя, дядь, как угораздило.

— Руки.

— Ага. — Парень выпрямился. — Сейчас, тут пост за поворотом, я мигом.

Он взялся за ворот куртки, поправил капюшон, и ворот съехал.

На шее у него был чёрный шнурок.

Сергей смотрел на этот шнурок так, как будто впервые в жизни видел шнурок, и парень перехватил его взгляд.

— А? — сказал он. — Это бабка. На остановке дала. От сглаза. — Он улыбнулся. — Пятьдесят рублей. Я её первый раз видел, а она: «Возьми, а то тебе сейчас при твоей жизни скажут». Прикинь, да? Я говорю, вы чего, а она молчит.

Сергей посмотрел ему в лицо.

— Её на остановке нет, — сказал он. — Она умерла в девяносто восьмом.

Парень засмеялся.

— Ну да, — сказал он. — Ага.

— Сними, — сказал Сергей.

— Чего?

— Сними узелок.

Парень посмотрел на него так, как смотрят на пьяных и на сумасшедших, и попятился к своей машине.

— Дядь, ты сядь. Сядь, я сейчас приеду.

— Сними! — крикнул Сергей ему в спину.

Парень сел в «Газель» и уехал.

Сергей остался сидеть на асфальте.

Он посидел ещё немного, потом вспомнил про термос, встал, дошёл до кабины, вытащил его из-под сиденья и открыл.

Внутри была вода. Вода, тряпка и серый узелок, и когда он размотал тряпку, узелок рассыпался у него в руках серой землёй.

Земля была тёплая.

Он сидел на обочине пустого шоссе, с землёй в ладонях, и смотрел, как фары «Газели» уходят за поворот.

Через сорок минут приехали гаишники.

Они спрашивали, как всё было, и он рассказывал, и всё это время думал о том, что парень на «Газели» доедет до поста, а потом поедет дальше, через перекрёсток, через объездную, вечером, в темноте, и что кто-то поедет рядом с ним.

Он не поедет.

Он больше не поедет этой дорогой.

Глава 2. Присушка

Марина Одинцова в четверть седьмого осталась в группе одна.

Она мыла пол, и ведро стояло у неё под ногами, и в группе пахло мокрой тряпкой и компотом. На стене висели детские рисунки, приколотые степлером, и один, с оранжевым солнцем и чёрной собакой, был подписан печатными буквами: «МАМЕ ОТ ДИМЫ» — и ниже, другим почерком, взрослым: «Дима, солнце сбоку».

Она домыла, вылила воду, выключила свет и села в раздевалке на маленький стул, спиной к шкафчикам, и достала телефон.

Стас не ответил.

Сообщение висело в переписке девятый день, с двумя галочками. Она написала: «Привет. Ты как?» — и всё. Два слова и вопросительный знак.

Она открыла его профиль. Аватарка с моря, тёмные очки, плечо в кадре. В последней фотографии, выложенной неделю назад, был стол в кафе и чья-то рука, и Марина эту руку рассматривала минут пятнадцать, увеличивая, как в детективе: ногти короткие, без лака, часы мужские.

Она закрыла профиль и положила телефон на колени.

В группе было тихо. В коридоре гудел кулер, за стеной, у завхоза, работал телевизор, и Марина сидела и слушала.

Они познакомились в сентябре, в очереди на почте. Он пропустил её вперёд, потому что у неё были ключи от садика в руке, а потом они стояли на улице и курили, а точнее — курил он, а она стояла и держала сумку с поделками из шишек. Он работал в автосервисе, у него была собака, и он смешно рассказывал, как эта собака боится пылесоса.

Четыре месяца. За четыре месяца она два раза ночевала у него, один раз он ночевал у неё, и три раза они ходили в кафе.

А потом он перестал отвечать.

Марина выдохнула, встала и пошла к выходу.

Дома она поставила чайник, села с тарелкой макарон и открыла ленту.

Там было всё как всегда: бывшие однокурсницы с фотографиями букетов, мамочки из группы с рисунками, тётя из Ижевска с открытками.

И одно объявление, которое она потом вспоминала очень долго.

Оно было в местной группе «Женсовет. Наш район» и начиналось с фотографии: женщина в тёмном платке, лицо размытое, за спиной иконы и занавеска.

«ПОТОМСТВЕННАЯ ВЕДУНЬЯ НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА. Верну мужа в семью, приворожу любимого, сниму венец безбрачия, отведу соперницу. Во все времена года. За 3 дня. Не гадаю — работаю. Писать в личные сообщения».

Под объявлением было сорок три комментария, и в каждом втором из них было: «Спасибо, Наталья Петровна, всё сбылось, пишу вам отдельно», и ещё: «Пришло, работает».

Марина посмотрела на профиль.

Обычная страница: «Наталья Петровна, 52 года, город — наш», фотография с кошкой, много рецептов и открыток с розами. Она открыла личные сообщения и долго держала палец над строкой ввода.

Потом написала:

«Здравствуйте. А приворот сколько стоит?»

Ответ пришёл через минуту.

«Здравствуйте, милая. Напишите, сколько лет, имя, и фото того, кого привораживаете. Фото с открытым лицом, чтобы глаза видно было».

Марина сфотографировалась у зеркала в ванной — кофта на кнопках, волосы собраны — и отправила, вместе со скриншотом Стаса с аватарки.

«Марина, 33».

«Хорошо, — ответили ей. — Марина, а теперь возьмите волос со своей головы. Ровно один. Положите его в конверт без надписи и оставьте до утра на подоконнике, чтобы на него луна светила. Если сегодня луны нет, завтра».

Марина посмотрела в окно.

Луна была, большая и белая, и в её свете на подоконнике стояла жестянка с чаем и лежал носок.

Она взяла со стола ножницы, отрезала прядь у виска — вышло больше, чем один волос, — и положила её в конверт.

Потом села обратно и стала ждать ответа.

Ответ пришёл через двадцать минут.

«Всё вижу, милая. Он у вас мается, и в голове у него другая, но она недолгая. Сделаю отворот и приворот. С вас восемь тысяч. Переводите на карту, номер пришлю. И вот что ещё: придут — не гоните. Это моё дело, а ваше — принять».

Марина перевела.

Восемь тысяч для неё были деньги. За них можно было закрыть садиковскую квитанцию за два месяца или купить новый телефон, а у неё телефон был старый, с паутиной на стекле.

Она перевела и легла.

Утром, когда она уже стояла в группе и вытирала сопливых детей салфетками, пришло сообщение.

«Сделала. Он придёт к вам сам, скажет то, что вы хотите слышать. Никому не рассказывайте и не спрашивайте его ни о чём в первый день.

И главное, Марина: первые три дня его не кормите. Совсем. Ни крошки».

Марина посмотрела на телефон, потом на детей, потом опять на телефон.

«Не кормить? Почему?» — написала она.

«Так у меня всегда, — ответила Наталья Петровна. — Не давайте ему еды первые три дня. А там сами увидите. И ещё: он может не есть и хотеть. Это хороший знак. Значит, сил у нас больше».

Марина положила телефон в карман халата.

— Марина Александровна, — сказал Дима, у которого на коленях опять разошлись колготки. — А почему у вас лицо как у бабы Яги?

— Потому что вы, — сказала Марина, — сейчас всей группой пойдёте тихо-тихо, как мышки.

Дети пошли мышки, и она стояла и смотрела в окно, где падал первый снег, и думала, что смешно и что надо бы написать этому Стасу.

К вечеру ей позвонили с незнакомого номера.

— Марин, — сказал в трубке его голос. — Это я. Ты куда пропала?

Она стояла в прихожей, в мокрой куртке, и не могла снять с ноги второй ботинок.

— Я? — сказала она.

— Ну не я же, — сказал Стас и засмеялся. — Я к тебе приеду. Ты дома? Я сейчас приеду.

Он приехал через час.

В дверях стоял Стас — короткая стрижка, в куртке, с бутылкой вина в руке, и смотрел на неё так, как смотрят на людей, которых давно искали.

— А я, — сказал он, — к тебе так хотел.

Она его не кормила.

Он сидел на её кухне, в куртке, не сняв ботинки, и смотрел, как она гремит чайником.

— Ты поешь? — спросила она. — У меня пельмени есть.

— Не хочу, — сказал Стас.

— Совсем?

— Совсем.

Он просидел у неё до двух ночи. Рассказывал про сервис, про хозяина, который экономит на подъёмнике, про собаку, которая теперь боится не пылесоса, а микроволновки. Смеялся. Смотрел на неё так, что у неё внутри всё поворачивалось и падало.

Потом он сказал:

— Марин. Я тут без тебя, ну, в общем. Я понял.

— Что понял?

— Что мне никто не нужен, кроме тебя. — Он сказал это просто, без пафоса, глядя ей в лицо. — Я дурак был. Я вообще не понимаю, как я без тебя жил.

Она заплакала, а он встал, подошёл и обнял её, и от него пахло улицей и чужим шампунем, и она думала, что вот, сбылось, и что восемь тысяч она зря считала деньгами.

Ночью она его не кормила и не могла уснуть. Лежала и слушала, как он дышит.

Он спал, отвернувшись к стене, и дышал ровно, а у неё над ухом тикали часы, и в какой-то момент ей показалось, что он не дышит, и она приподнялась на локте и смотрела ему в спину, пока он не перевернулся и не вздохнул.

Утром она сварила кашу.

— Стас, — сказала она. — Хоть ложку.

— Я не хочу, — сказал он. — Правда, Марин. Я как будто поел.

Он ушёл на работу, а вернулся в семь, и снова ничего не ел. Сидел, смотрел в телевизор, где шёл сериал про врачей, и молчал, и когда она принесла ему бутерброд, отвёл её руку ладонью.

— Не могу, — сказал он. — Тошнит от одного вида.

На второй день он похудел.

Не так, чтобы это было видно человеку, который его не знает, но Марина видела. У него стали резче скулы и запали щёки, и куртка на плечах сидела как на вешалке. Он всё время пил воду. Он выпил за вечер литра полтора, а на вопрос, как он, ответил: «Нормально, только знобит».

На вторую ночь Марина проснулась от голода.

Голод был такой, что её подбросило. Она лежала в темноте и слушала, как в животе урчит, как будто там кто-то переворачивался с боку на бок. Она встала, прошла на кухню и открыла холодильник.

Дверца щёлкнула. В коридоре за спиной заскрипело.

— Ты чего? — сказал Стас из темноты.

Она обернулась.

Он стоял в проёме, в майке, бледный, и в свете холодильника было видно, какие у него тонкие руки.

— Есть хочу, — сказала Марина. — Прости, я тихо.

— Поешь, — сказал он.

Он смотрел, как она ест.

Она ела стоя, у раковины, и это были остатки картошки с котлетой, и она съела всё, а потом достала варёную свёклу и съела свёклу, и потом полбанки сметаны, и всё это время он стоял и смотрел.

— Ты чего? — спросила она с полным ртом.

— Ничего, — сказал он. — Смотрю.

— Страшно?

— Нет. — Он помолчал. — Хорошо.

Она вымыла тарелку и пошла спать, и всю ночь ей снилось, что она ест и ест, а еды в тарелке не убавляется.

На третий день он не пошёл на работу.

Он лежал на диване, укрытый её пледом, и когда она вернулась из садика, у него были синие губы.

Марина села рядом.

— Стас.

— Мм.

— Я тебя отвезу в больницу.

— Не надо, — сказал он и попробовал улыбнуться, и у него это почти получилось. — Мне не больно. Только слабость.

— У тебя губы синие.

— Холодно.

Она накрыла его вторым одеялом, потом принесла горячую грелку, потом бульон.

Он отвёл руку с ложкой, и ложка упала на пол.

— Не надо, — сказал он, и в голосе появилось что-то, чего она раньше не слышала. — Я не хочу. Ты не понимаешь: я не хочу есть совсем. И это, — он закрыл глаза, — это самое плохое.

Марина убрала ложку и сидела у дивана на полу, обняв колени.

Она думала про Наталью Петровну и про «три дня» и понимала, что уже третий день, а ничего не меняется.

Она написала ей в тот вечер.

«Здравствуйте. Вы сказали, три дня. Сегодня третий. Он совсем плохой, не ест, у него губы синие. Что делать?»

Ответ пришёл сразу, как будто Наталья Петровна ждала у телефона.

«Марина, милая. Он не должен есть, это верно. А вы? Вы как?»

Марина посмотрела на этот вопрос и не поняла.

«Я хорошо. Я ем».

Через минуту пришло ещё одно сообщение.

«Вот и хорошо. Значит, у нас всё получается. А то, что он плохой, — он привыкает. Три дня голода, а дальше он ваш и ничей больше.

Вы, главное, его не жалейте. Жалость силу отбивает».

Марина положила телефон и пошла на кухню.

Она съела сковородку жареной картошки, потом открыла шкаф и наткнулась на пачку печенья, оставленную с Нового года.

Печенье было старое и мягкое.

Она съела его всё стоя, и потом ей было так, будто она не ела ничего.

Утром она не смогла застегнуть халат.

Халат был новый, она купила его в сентябре, и он застёгивался на все пуговицы, а теперь не сходился на груди и на животе.

Марина постояла перед зеркалом в раздевалке, потом сняла его, надела футболку и сверху халат, и халат застегнулся, но в футболке было жарко.

В группе пахло котлетами.

Дети сидели за столами, и нянечка разливала компот, и Марина села с ними, потому что ей надо было накормить Диму, который опять ничего не ел, и Вику, которая ела только хлеб.

— Марина Александровна, — сказал Дима, — а вы сегодня красивая.

— Спасибо, — сказала Марина.

— У вас живот, — сказал Дима.

Она посмотрела на него.

— Дима, — сказала она, — ешь котлету.

Она взяла с раздачи две котлеты и съела их стоя, у окна, и запила компотом из детской кружки, и есть хотелось так, будто она не ела с утра.

В тихий час она пошла в медицинский кабинет.

Там стояли весы, механические, с гирьками, на которых взвешивали детей.

Марина зашла, закрыла дверь и встала на них.

Весы показали восемьдесят два.

Она стояла на холодной железной площадке весов и смотрела на стрелку.

В сентябре было шестьдесят два. Она помнила, потому что взвешивалась перед отпуском у моря и расстроилась из-за двух килограммов.

Двадцать килограммов.

Она сошла с весов и села на кушетку.

— Так, — сказала она вслух. — Так.

Она попробовала вспомнить, что ела за эту неделю, и вспомнила: картошку, свёклу, сметану, печенье, суп, макароны, ещё макароны, ещё печенье.

А потом вспомнила ночь.

Ночь она не помнила.

Она помнила, как ложилась, и помнила, как утром вставала, и между этим было что-то ещё, тяжёлое, тёплое, и от него во рту оставался вкус.

— Марина, — сказала в дверях напарница Лена. — Ты чего тут сидишь?

Марина встала.

— Живот болит, — сказала она.

— А. — Лена смотрела на неё. — Ты вообще в порядке?

— В порядке.

— Ты вчера на весь садик кричала на Витю.

— Я не кричала.

— Ты кричала, — сказала Лена. — Ты сказала: «Я тебя съем».

Марина посмотрела на неё.

— Это я так, — сказала она. — В шутку.

Она вернулась в группу и легла на ковёр в спальне, рядом с детскими кроватками, и лежала, глядя в потолок, и слушала, как дети дышат.

От неё пахло котлетами.

Вечером она зашла в «Магнит» и купила торт.

Торт был большой, «Прага», в коробке, и она взяла ещё два эклера и не стала их есть в магазине.

Она села в машину, поставила коробку на колени и открыла.

Потом она ела торт руками, отламывая куски, и не чувствовала вкуса.

На стоянке было пусто, мимо прошёл человек с собакой и посмотрел на неё через стекло, и она даже не отвернулась.

Когда в коробке осталась половина, она закрыла её, вытерла руки о влажную салфетку и посидела ещё немного.

Потом достала телефон.

«Здравствуйте, — написала она Наталье Петровне. — У меня всё хорошо, он со мной. Но я очень много ем. Это нормально?»

Ответ пришёл через минуту.

«Это хорошо, милая. Кушайте. Он вас любит».

Марина посмотрела на эту строчку.

Потом закрыла телефон, положила коробку с тортом на пассажирское сиденье и поехала домой.

Ночью она проснулась от того, что во рту что-то было.

Она лежала на спине с закрытым ртом, и за щекой у неё было что-то тёплое и мягкое, и она с трудом это проглотила, и только потом сообразила, что произошло, и вскочила.

В ванной она прополоскала рот и посмотрела на себя в зеркало.

Лицо было её, только круглое. И губы у неё были в жире.

Она вытерла их тыльной стороной руки и стояла над раковиной, и на кухне, за стеной, кто-то очень тихо ходил.

На кухне никого не было.

Она включила свет, обошла всё, заглянула за стол и под стол, проверила дверь. Стас спал на диване, свернувшись, и во сне держался за живот обеими руками.

Утром Марина открыла объявление Натальи Петровны и стала читать комментарии.

Сорок три штуки. Двадцать восемь — «спасибо, всё сбылось». Остальные были вопросы.

Она нашла один, который написали год назад: «Наталья Петровна, спасибо вам большое, вы вернули мне моего человека. Только скажите, это нормально, что он теперь ничего не ест?»

Под ним был ответ: «Это хорошо, милая. Значит, работает».

Марина нажала на имя.

Ольга Ветрова, сорок четыре года, наш район, на аватарке — георгины. Марина написала ей в личные:

«Здравствуйте. Извините, что беспокою. Я видела ваш комментарий у Натальи Петровны. У меня сейчас то же самое. Можем мы встретиться?»

Ольга ответила через два часа.

«Здравствуйте. Давайте в пять у «Пятёрочки» на Кирова. Только вы не пугайтесь».

Она не поняла, чего пугаться, и пришла в пять.

Ольга стояла у входа, в пуховике, с двумя сумками, и была очень большой — не толстой, а именно большой, как будто её надули. Лицо у неё было круглое и бледное, а под глазами лежали тени, и когда она поздоровалась, Марина увидела, что у неё не хватает переднего зуба.

— Пойдёмте, — сказала Ольга. — Тут лавочка во дворе, там никто не сидит.

Они сели. Ольга поставила сумки в снег, достала сигареты и закурила.

— Значит, и вы, — сказала она.

— И я.

— Сколько отдали?

— Восемь.

— Я десять. — Ольга усмехнулась. — Она с меня больше взяла, потому что у меня муж был. — Она затянулась. — Он умер в феврале.

Марина молчала.

— Не от неё, — сказала Ольга. — От сердца. Врачи так сказали, сердце. Он просто в один день лёг и не встал, и всё. А до этого полгода не ел.

— И вы его не кормили?

— Я его кормила, — сказала Ольга. — Я его кормила силой. Я ему суп через трубочку вливала, как ребёнку. — Она посмотрела на Марину. — Милая, вы не поняли, что вам сказали. Она вам сказала: «Не кормите его». А вы себя не кормите.

— Я не понимаю.

Ольга затушила сигарету о край урны.

— Оно не в нём, — сказала она. — Оно рядом. Присушка — это не мужик, которого вам вернули. Мужик как раз ни при чём, он вообще ничего не соображает, он как радио, которое говорит то, что в него заложили. — Она посмотрела куда-то в сторону. — А оно ест. Ему надо тело, а телу надо еды. Вот оно и ест: он не ест, потому что жуёт не он. И вы не едите, когда едите. Вы жуёте, а оно жуёт вашими зубами.

— То есть...

— То есть вы кормите его собой, — сказала Ольга. — Каждую ночь. И чем больше вы едите, тем больше оно ест. Вы посмотрите на себя.

Марина опустила глаза.

Она вдруг поняла, что куртка на ней не сходится на груди. Она купила её в сентябре, и в сентябре она застёгивалась.

— Три дня — это цветочки, — сказала Ольга. — Три дня оно только просыпается. Дальше оно начнёт просить.

— Как просить?

— Ночью. — Ольга смотрела прямо на неё. — Вы будете спать и знать, что надо встать и идти к холодильнику. И вы встанете. И будете есть стоя, в темноте, и вам будет всё равно, и утром вы даже не вспомните, что ели.

— А если я не буду?

— Не будете что?

— Есть. Не буду кормить.

Ольга помолчала.

— Я пробовала. Я держалась два дня. — Она выдохнула. — На второй день он ночью встал. Мой. Стоял у кровати и смотрел. Я говорю: ты чего? А он говорит не своим голосом. — Она замолчала.

— Что он сказал?

— «Ты же не хочешь, чтобы я пошёл к другому». — Ольга усмехнулась. — Вот так. И я встала и пошла на кухню. И с тех пор ела.

Марина почувствовала, что у неё мёрзнут руки.

— А отказаться совсем?

— Отказаться можно, — сказала Ольга. — Только возвращается всё. И оно забирает своё. — Она подняла сумку. — У меня оно своё забрало. Я вам про сердце говорила. Вот оно и есть.

Она встала, и Марина тоже встала.

— Ольга, — сказала она. — А что делать?

Ольга посмотрела на неё долгим взглядом, и в этом взгляде не было ни жалости, ни злорадства, а было что-то очень усталое.

— Ночью не спите, — сказала она. — Ночью оно жрёт вашим ртом, а вы думаете, что вам снится. И вот ещё что. — Она поправила ремень сумки на плече. — Посмотрите, у него под рёбрами. Ходит?

— Что ходит?

Ольга не ответила.

Она пошла через двор, тяжёлая, в пуховике, с двумя сумками, и снег под ней скрипел так же громко, как под всеми.

Марина просидела на лавочке ещё минут двадцать.

Дома было тихо и пахло чем-то жареным.

Стас лежал на диване.

Она села рядом, на пол, на ковёр, и долго смотрела, как он спит. Он спал на спине, и футболка у него задралась, и было видно живот.

Живот у него был впалый, кожа на нём висела, как у человека, который сильно похудел. А под левым ребром, у самой грудной клетки, кожа была натянута, и под ней что-то медленно переворачивалось с боку на бок.

Марина наклонилась ближе.

От него пахло жареной картошкой и старым печеньем. Тем самым печеньем, которое она доела ночью, стоя у шкафа.

Она отшатнулась и закрыла себе рот рукой, чтобы не закричать.

В ту ночь она не легла.

Она сидела на кухне, в халате, при включённом свете, и пила чай, и чай был без сахара, потому что с сахаром хотелось печенья, а печенья в доме больше не было.

Стас спал на диване, и из комнаты было слышно, как он дышит.

В час ночи она сходила и посмотрела на него. Он лежал на спине, и под рёбрами у него было тихо, и от него больше не пахло едой.

В два она задремала на стуле.

В три открыла глаза.

Стас стоял в дверях кухни.

Он стоял в майке, босиком, и в белом свете лампы был виден весь: рёбра, ключицы, кости на запястьях, синие губы.

— Ты чего? — сказала Марина и села ровнее.

Он смотрел на неё и молчал.

— Стас.

— Марин, — сказал он.

Голос был его, но шёл откуда-то из груди, низко, и в нём не было ни хрипоты, ни слабости, а было спокойствие, как у человека, который всё уже решил.

— Ты же не хочешь, — сказал он, — чтобы я пошёл к другому.

Марина не двигалась.

— Что?

— Ты же не хочешь, чтобы я пошёл к другому, — повторил он, и в лице у него ничего не изменилось. — Тогда иди и поешь.

Она смотрела на него и думала, что надо встать и выгнать его, и что не выгонит.

Потом встала и достала сковородку.

Картошка была в ящике под раковиной, холодная, уже чищеная, и луковица, и масло. Она включила газ, и масло зашипело, и запах пошёл по всей квартире, и от этого запаха у неё закружилась голова.

Она пожарила полную сковородку.

Стас всё это время стоял в дверях и смотрел.

Она наложила себе тарелку и села. Потом посмотрела на него.

— Сядь, — сказала она. — Поешь.

— Мне нельзя, — сказал Стас.

— Тебе можно, — сказала Марина.

Она наложила вторую тарелку и поставила перед ним, и он сел.

Он не ел. Сидел, положив руки на стол, и смотрел, как ест она, и в его лице было что-то очень довольное, хотя ни одна черта не двигалась.

Марина ела быстро, обжигаясь, и картошка была недосоленная, и она солила её прямо в тарелке.

Когда тарелка кончилась, она встала, взяла сковородку и наложила себе добавки.

— Ещё, — сказала она вслух, хотя никто её не спрашивал.

Она села, взяла ложку и зачерпнула.

Ложка была из старого набора, тяжёлая, с широкой овальной ямкой, и в её выпуклом боку всё отражалось тёмным и перевёрнутым.

Марина поднесла ложку ко рту.

В ложке отражалась женщина.

Не она. Женщина была полная, круглолицая, в тёмном, и рот у неё был набит, и она жевала и смотрела прямо на Марину. В её глазах не было ни испуга, ни удивления, а было только одно, спокойное и очень острое: чтобы не кончилось.

Марина замерла с ложкой в руке.

Отражение жевало. Она не жевала.

— Ешь, — сказал Стас из-за стола, и в его голосе было то же самое, спокойное и очень острое.

Марина посмотрела на него. Потом посмотрела на ложку.

Потом открыла рот и съела.

Глава 3. Отворот

В воскресенье Виктор Гущин пожарил мясо.

Он всегда жарил мясо по воскресеньям: покупал свиную шею, резал крупно, солил и перчил, и тушил в чугунной сковороде с луком, и в квартире пахло так, что соседи стучали по батарее.

— Пап, — сказала Настя, — мы с Егором подали заявление.

Виктор стоял у плиты в фартуке, в котором пять лет назад ходил на субботник, и держал в руке деревянную лопатку.

— Куда подали?

— В загс, — сказала Настя. — На двадцатое февраля.

Мясо зашипело, и он убавил газ.

За столом сидели Людмила, жена, и Дима, сын, который приехал на выходные из техникума и до этого молчал, потому что ел.

А ещё за столом сидел Егор.

Егор был парень как парень: двадцать шесть лет, стрижка, чистая кофта, бледные пальцы. Он работал в доставке, а по вечерам играл в группе, и Виктор один раз слышал, как он играет, — в телефоне, из колонки, и это было что-то такое, от чего у Виктора заныли зубы.

— А ты чего молчишь? — спросил Виктор Егора.

— Мы решили, что сначала я скажу, — сказал Егор. — Настя сказала, вы любите, когда сразу.

— Люблю, — сказал Виктор.

Он положил лопатку и вытер руки о фартук.

— И на что вы собираетесь жить?

— Я работаю, — сказал Егор.

— Ты возишь пиццу.

— Витя, — сказала Людмила.

— Ты возишь пиццу, — повторил Виктор, — и играешь в клубе, и я не знаю, что ты будешь делать, когда тебе будет сорок. Тебе тридцать будет через четыре года. У тебя нет ничего. У тебя нет ни квартиры, ни профессии, ни…

Он замолчал, потому что Настя встала.

Она встала, и у неё было такое лицо, какое у неё было в четырнадцать лет, когда он не пустил её на ночёвку к подруге, и тогда она не разговаривала с ним неделю.

— У него есть я, — сказала она. — Понятно? У него есть я.

— Настя.

— Не надо, — сказала она. — Он встаёт в пять, он работает, он не пьёт, он меня не бьёт. Ты знаешь, что он мне на день рождения подарил? Он мне подарил кольцо. Он три месяца на него откладывал. А ты знаешь, что ты мне подарил? Ты мне подарил деньги. В конверте. Как на похороны.

— Я работаю, — сказал Виктор. — Я двадцать лет работаю, я…

— Всё, — сказала Настя.

Она взяла куртку, и Егор встал за ней, и в дверях он обернулся и сказал:

— Виктор Николаевич, вы правы. Я это понимаю.

И они ушли.

Мясо горело.

Виктор выключил газ, снял сковородку и стоял над ней, и во всей квартире было тихо, и Дима сказал:

— Пап. Ну ты чего.

— Иди, — сказала Людмила и пихнула Диму в бок. — Иди, сынок, погуляй.

Дима ушёл, и они с Людмилой остались на кухне вдвоём.

— Он хороший мальчик, — сказала Людмила. — Он вежливый.

— Он возит пиццу, — сказал Виктор.

— И что?

— И то. — Он сел на табуретку. — У неё будет комната в общаге и ящик в холодильнике. И на двадцатое февраля, когда они поедут в загс, ты будешь платить за ресторан, потому что у него нет.

Людмила молчала.

А потом сказала:

— Ты же понимаешь, что она всё равно сделает.

Виктор посмотрел на неё.

— Понимаю, — сказал он.

Он вышел из кухни, и в коридоре, где висело зеркало и пахло мокрой обувью, его встретила собственная квартира: обои в цветочек, которые они клеили с Людой в две тысячи девятом, велосипед Димы, который стоял тут со школы, и полка с банками, где хранилась всякая всячина — отвёртки, батарейки, проволока.

Он стоял и смотрел на полку, и в голове у него было громко.

Поэтому, наверное, он и вспомнил про Валентину.

Валентина Ивановна работала у них в бухгалтерии, сидела в кабинете у окна и развешивала на стены календари. Ей было шестьдесят, у неё были внуки, и когда Ирина из паспортного стола похоронила мужа и через полгода снова начала смеяться, в конторе говорили, что это Валентина Ивановна её свела с одним человеком.

В понедельник Виктор зашёл в бухгалтерию.

— Валентина Ивановна, — сказал он, — мне нужен один адрес. Знаю, что слухи, но мне нужен.

Она подняла на него глаза и не удивилась.

— Гущин, — сказала она. — Сядь.

Он сел на стул для посетителей, который был ниже её стула, и это было неловко.

— Что случилось?

Он рассказал.

Она слушала, не перебивая, и вертела в руках ручку.

— Значит, отворот, — сказала она. — Ты понимаешь, что ты хочешь сделать? Ты хочешь, чтобы твоя дочь разлюбила человека, которого выбрала. Ты не хочешь отвести беду. Ты хочешь развернуть её всю.

— Я хочу, чтобы она была счастлива.

— Да, — сказала Валентина Ивановна. — Они все так говорят.

Она открыла стол, порылась и достала помятую бумажку.

— Это на Второй Горской, дом с зелёными воротами, второй подъезд, третий этаж. Тётя Шура. — Валентина Ивановна положила бумажку на край стола, но не отпустила её. — Витя, слушай сюда. Она не берёт много, она берёт сколько скажет. Но она тебя предупредит, и ты должен её слушать, когда она будет предупреждать. Ты меня понял?

— Понял, — сказал Виктор.

Он взял бумажку.

— Ты не понял, — сказала Валентина Ивановна.

Вечером он поехал.

Дом стоял на краю улицы, где кончались девятиэтажки и начинались частные, с заборами из профнастила. Зелёные ворота были облупленные, а в них — калитка со звонком, обёрнутым синей изолентой, и на звонке была бумажка: «Звонить 2 раза».

Виктор позвонил два раза.

За воротами было тихо, потом в доме загорелся свет, и женский голос спросил:

— Кто?

— Гущин Виктор, — сказал он. — Мне отворот надо.

За воротами помолчали.

Потом загремел засов.

Калитка открылась, и в проёме стояла маленькая женщина в халате, с полотенцем на плече.

— Гущин, — сказала она. — Ну заходи.

Двор был узкий, весь в снегу, с тропинкой от калитки до крыльца, и на верёвке висело бельё, которое не могло высохнуть в такую погоду и стояло колом. В доме пахло сушёными травами и валерьянкой.

Тётя Шура провела его на кухню.

Кухня была маленькая, чистая, с клеёнкой в цветах, с иконами в углу и с телевизором на холодильнике, который шёл без звука, показывая новости.

— Садись, — сказала она. — Есть будешь?

— Нет.

— И правильно. — Она села напротив, положила руки на стол. — Рассказывай.

Виктор рассказал.

Он рассказывал коротко, как привык на работе: дочь, двадцать три года, медсестра, парень, доставка, свадьба двадцатого февраля. Он не жаловался. Он просто говорил, и голос у него не дрогнул ни разу.

Тётя Шура слушала, глядя в сторону, как будто смотрела не на него, а куда-то за его плечо.

— Имя, — сказала она, когда он кончил.

— Чьё?

— Её. Как зовут дочь.

— Настя. Настасья.

— А по святцам?

— Анастасия, — сказал Виктор. — Мы её Настей зовём.

Тётя Шура достала из ящика шариковую ручку и кусок обоев, обрезанный под бумажку, и написала крупно: «АНАСТАСИЯ». Потом подумала и дописала: «дочь Виктора».

— А его?

— Егор.

— Фамилия?

— Не знаю, — сказал Виктор и вдруг понял, что не знает. — Он Егор. Из доставки.

— Фотографию есть?

Виктор достал телефон.

Фотографий было много: Настя на кухне, Настя с тортом, Настя в парке с этим Егором, оба смеются, у неё на голове его шапка.

Он показал.

Тётя Шура смотрела на экран долго, потом взяла телефон в руки, повернула к свету и сказала:

— Хорошая девка. И парень хороший.

— Хороший, — сказал Виктор. — Только пустой.

— Пустой, — согласилась тётя Шура. — Это ты верно говоришь. — Она отдала ему телефон. — Только, Витя, пустое место тоже кому-то место.

Она встала, достала из шкафа эмалированную кастрюлю, налила воды из бутылки, поставила на газ.

— Сейчас будет тебе отворот, — сказала она. — Только сначала я тебе скажу, а ты послушай, потому что второй раз я не говорю и повторять не буду.

Виктор кивнул.

— Отворот — это не развод, — сказала тётя Шура. — Развод — это когда люди расходятся. А отворот — это когда режут. Я режу то, что между ними наросло: привычку, тепло, память. И режу с двух сторон, потому что связь на двух концах держится.

— Ну и режьте.

— Не перебивай. — Она помешала воду ложкой. — Режется связь. А с ней режется память о связи. У него — о ней, у неё — о нём.

— Это хорошо, — сказал Виктор. — Пусть забудет.

— И у тебя, — сказала тётя Шура.

Виктор посмотрел на неё.

— У меня-то почему?

— А ты как думал? — Она обернулась от плиты. — Ты в эту связь руки сунул, ты её и режешь. С кого режется? С того, кто режет. У тебя первым уйдёт то, ради чего ты просил.

— То есть она, — сказал Виктор.

— Она.

Кухня была тихая. В телевизоре на холодильнике показывали, как чиновник режет ленточку.

— И что, я её забуду? — спросил Виктор.

— Забудешь, — сказала тётя Шура.

— Совсем?

— Совсем не сразу. Сначала имя. Потом лицо. Потом то, что она у тебя есть.

Виктор засмеялся.

— У меня память хорошая.

— Вот и посмотрим, — сказала тётя Шура.

Она сняла кастрюлю с огня и налила отвар в бутылку из-под лимонада. Отвар был тёмный, почти чёрный, и пах горьким.

— Значит, так. — Она поставила бутылку на стол. — Отдашь ей. Не сама пусть выпьет, а ты ей в чай, в компот, в суп — всё равно. Половину ложки. Три вечера подряд. И с ним то же, только ему через неё дойдёт, у него своё.

— А если не выпьет?

— Выпьет. — Тётя Шура усмехнулась. — Она тебе пока ещё верит.

Она взяла бумажку с именем и положила её в карман его куртки.

— Вот. Каждый вечер читай вслух. «Анастасия, дочь Виктора». Один раз, перед сном. Пока помнишь.

— Зачем?

— Затем, — сказала тётя Шура, — что так у меня будет зацепка. Пока имя помнишь, я могу вернуть. А как забудешь — всё, Витя, обратно не соберу.

— Сколько с меня?

— Тысячу, — сказала она.

Виктор достал бумажник.

— И ещё, — сказала тётя Шура. — Если через месяц не вспомнишь, как её зовут, — приходи. Слышишь? Приходи.

— Приду, — сказал Виктор.

Он взял бутылку, спрятал её за пазуху, чтобы не звенела, и вышел на крыльцо.

Снег шёл крупный, мягкий, и в свете с крыльца было видно, как он ложится на бельё и не тает.

— Гущин! — сказала тётя Шура из дверей.

Он обернулся.

— Имя говори, — сказала она. — Каждый вечер. Вслух.

Дома он спрятал бутылку в гараж, в ящик с инструментами, за банку с гвоздями.

Бумажку он положил в карман пиджака, в котором ходил на работу.

В первый вечер он подлил отвар в чай.

Настя пила чай на кухне, в телефоне, и он сел напротив и налил ей сам, из чайника, как в детстве, и она сказала:

— Спасибо, пап.

Отвар был тёмный, почти чёрный, но чай у них всегда был крепкий, и она не заметила.

Во второй вечер она пришла с работы уставшая, и он налил ей борщ, и она съела всю тарелку, и он сидел и смотрел, как она ест, и ничего не чувствовал, кроме того, что делает то, что надо.

В третий вечер она не пришла домой.

Она ночевала у Егора, и Виктор сидел на кухне до двенадцати, и бутылка стояла на столе перед ним, и в ней оставалось ещё на два раза.

Настя вернулась в четверг.

Она вошла, сняла куртку, и у неё было спокойное лицо, какое бывает у человека, который хорошо спал.

— Пап, — сказала она. — Я рассталась с Егором.

Виктор отложил газету.

— Да?

— Да. — Она села на табуретку. — Я не понимаю, зачем я с ним была.

— В смысле?

— В смысле, — сказала Настя, — я сижу и думаю: зачем? Он хороший. Он правда хороший. Но я его вижу, и у меня ничего нет. Как будто я спала полгода и проснулась.

Виктор смотрел на неё.

Он ждал, что она заплачет, что она уйдёт в комнату и хлопнет дверью, что она скажет ему: «Это ты».

Она не сказала.

— Ну и правильно, — сказал Виктор. — Значит, не твой человек.

— Значит, не мой, — согласилась Настя и пошла к себе.

Людмила вышла из комнаты, когда Настя закрыла дверь.

— Это ты? — спросила она.

— Что я?

— Ничего, — сказала Людмила и посмотрела на него так, что он отвёл глаза.

Ночью Виктор встал и вылил остатки отвара в унитаз.

Он думал, что будет легче, и легче не стало.

Егор пришёл в субботу.

Он стоял у подъезда с букетом, в своей куртке, и снег шёл ему на плечи, и он простоял так часа полтора.

Настя не вышла. Она сидела в комнате с наушниками и смотрела сериал.

Виктор смотрел на него из окна кухни.

Егор поднял голову, увидел его и не помахал.

Потом он положил букет на скамейку у подъезда и ушёл.

Букет простоял до утра, а утром его забрала дворничиха.

Через неделю Виктор забыл имя.

Это случилось на работе.

Он стоял в кабинете, у доски, где висело расписание обходов, и говорил по телефону с жильцом из второго подъезда, и жилец спросил:

— А вы кто?

— Гущин, — сказал Виктор. — Мастер участка.

— А дочка ваша? Она мне уколы делала. Как её, Наташа? Настя?

Виктор замолчал.

Он держал телефон у уха и смотрел на расписание, и в голове у него было пусто и гладко, как на вытертой доске.

— Настя, — сказал он наконец.

Слово было правильное, он даже как будто вспомнил его на вкус, но оно ничего не значило.

— Настя, — повторил он. — Да. До свидания.

Он положил телефон и постоял.

Потом достал из кармана пиджака бумажку, сложенную вчетверо, и прочитал: «АНАСТАСИЯ, дочь Виктора».

Виктор смотрел на эту бумажку долго.

Почерк был не его.

— Так, — сказал он вслух. — Анастасия.

Он прочитал ещё раз, шёпотом, как читают вслух заданное на дом.

И вдруг понял, что не может вспомнить, как она выглядит.

Не то чтобы совсем. Он знал, что у него есть дочь. Он помнил, что она ходит в куртке, что у неё длинные волосы, что она в прошлом году болела. Он помнил всё это по отдельности, как помнят содержание чужого документа.

Но лица не было.

Он стоял в кабинете, и в кабинете было тепло, и на столе остывал чай в кружке с надписью «Лучший мастер», которую ему подарили на Новый год.

— Гущин, — сказала Валентина Ивановна, заглядывая в дверь. — Ты чего стоишь?

Он обернулся.

— Валентина Ивановна, — сказал он. — У меня дочь есть?

Она посмотрела на него и ничего не сказала.

Вечером он поехал на Вторую Горскую.

Он нашёл дом с зелёными воротами, но калитка была закрыта, и в окнах не горел свет, и на звонок никто не вышел.

Он звонил два раза, потом ещё два, и потом стоял во дворе на снегу и не знал, что делать.

На обратном пути он заехал в гараж и открыл ящик с инструментами.

Бутылки не было. Он вылил её сам.

В машине он достал бумажку и держал её на руле, при свете фонаря.

— Анастасия, — сказал он. — Дочь Виктора.

Он повторил это ещё раз, потом ещё, и на пятый раз слово распалось на звуки, как распадается любое слово, если его долго повторять.

Он положил бумажку в карман и поехал домой.

Дома Людмила начала войну.

Она распечатала фотографию: Настя на кухне, с тортом, в день рождения, с бумажной короной на голове. Фотографию она повесила на холодильник, на магнитик, и подписала маркером прямо по белому полю: «Настя. Наша дочь».

Виктор утром налил чай, посмотрел на фотографию и спросил:

— А это кто?

Людмила стояла у плиты.

— Это Настя, — сказала она.

— Какая Настя?

— Наша дочь, Витя.

Он посмотрел на фотографию ещё раз.

— Не выдумывай, — сказал он спокойно. — У нас сын.

Людмила сняла сковородку с огня.

— У нас двое, — сказала она. — Дима и Настя. Настя старше, она медсестра, она живёт с нами, она в комнате справа.

Виктор покачал головой.

— Люда, — сказал он. — Ты устала. Правда.

Она записала его к неврологу.

Невролог был пожилой, с усами, и он долго стучал ему молоточком по коленям, водил пальцем перед глазами, просил назвать месяцы в обратном порядке и рисовать часы.

Виктор всё делал правильно.

Часы он нарисовал ровные, с цифрами, и стрелки поставил на без десяти три.

— Память сохранна, — сказал невролог, глядя в бумаги. — МРТ чистое. Когнитивных нарушений нет.

— Доктор, — сказала Людмила, — он не помнит дочь.

Невролог посмотрел на неё поверх очков.

— А что он говорит?

— Говорит, что у него сын.

— А сын есть?

— Есть, — сказала Людмила. — И дочь есть.

Невролог помолчал.

— У него в этом году был стресс?

— У него дочь замуж собиралась.

— Ну вот, — сказал невролог. — Вытеснение. Это к психотерапевту, не ко мне. Я вам выпишу направление.

Людмила взяла направление и не пошла.

Вместо этого она позвонила Валентине Ивановне.

Валентина Ивановна приехала в субботу, в пуховике, с сумкой, и они сидели на кухне втроём, и Людмила плакала.

— Витя, — сказала Валентина Ивановна. — Ты же ко мне сам пришёл. Просил адрес. Про дочь говорил, про жениха.

Виктор слушал внимательно.

— Валентина Ивановна, — сказал он. — Я вам верю. Но вы, наверное, путаете. Я бы помнил.

Она посмотрела на Людмилу.

— А бумажка? — спросила Валентина Ивановна. — У тебя в кармане бумажка была. Тётя Шура дала?

Виктор встал, пошёл в коридор и вернулся с пиджаком.

В подкладке пиджака у него лежал сложенный вчетверо кусок обоев.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.